

ARISTOS. СЛОВО О БРУШЛИНСКОМ

...Когда ты неизвестно где – на неведомой тебе тропинке, на неведомом берегу – ты где-то во Вселенной...

С.Л. Рубинштейн. Из дневника



Открыт к диалогу
(1992 г.)

“Мужество познания” – эта метафора С.Л. Рубинштейна полностью относима к его ученику Андрею Владимировичу Брушлинскому. Мужество познания, за которым стояло великое благородство, рыцарство (как очень верно сказал один из коллег в день прощания с ним) духа. Аристократ по происхождению, он являл собой воплощение какой-то естественной, живой, органичной, не музейной интеллигентности. Русский мыслитель Иван Ильин приводит разъяснение: «“Аристос” значит по-гречески “лучший” (современные словари переводят: “наилучший”, и это точнее. – В.К.). Не “самый богатый”, не самый

“родовитый”, не самый “влиятельный”, не “самый ловкий и пронырливый”, не привилегированный, не старейший возрастом. Но именно – лучший...» (Ильин И.А. Наши задачи. М., 1992. Т. 1. С. 128). Увы, Небеса, как уже давно подмечено, не медлят с призывом лучших. Выдающемуся ученому, одному из последних классиков отечественной психологии было 68 – всего...

Легендарная скромность и деликатность, корректность и такт, потрясающая терпимость (но только не там, где дело касалось принципиальных с профессиональной и нравственной точки зрения вещей!), обостренная совестливость лишь выдавали подлинный аристократизм личности Андрея Владимировича. То же самое можно сказать о его неподдельной открытости к диалогу, умении слушать и вслушиваться, сопереживать и содействовать. “Аристос” – антоним не “демоса”, а “охлоса”. И Андрей Владимирович (на посту директора академического института, в частности) как бы подтверждал тезис И.А. Ильина о том, что “аристократическое” и “демократическое” – взаимопредполагающие понятия. В том, что слово “демократизм” еще несет у нас какой-то человеческий смысл, – заслуга его и таких, как он. Ему доверяли свои самые сокровенные проблемы, в решении которых он был всегда готов принять незамедлительное участие и советом, и поступком. Наверное, потому, что сам не утратил детского дара “базисного доверия” (Э. Эриксон) к миру и людям и постоянно авансировал его окружению. А без доверия нет и веры. Поэтому даже в атмосфере упаднического релятивизма, нездорового скепсиса, порой перерастающего в неприкрытый цинизм, – в которой живительную среду нашли некоторые представители “интеллектуальной элиты”, – Андрей Владимирович свято верил в неотвратимость Разумного и Доброго исхода. И делал все, чтобы приблизить его.

Как и у всякой Личности – *Homo Aristos*, у него был собственный, личный “Армагеддон”, которому он отдавал энергию своего научного и нравственного творчества. Делая это столь же деликатно, тихо и спокойно. Подобно тому, как делал

он свои уникальные, подчас радикальные психологические открытия. Так творится и поддерживается Вечное в культуре. Ученый никогда не стремился к созданию ситуативных “информационных поводов”, даже, когда находил и формулировал поначалу обескураживающее: фантазии, как ее принято понимать, не существует; выбор в мышлении – это фикция; мышление не делает ошибок и т.д. Парадоксы психологии были его стихией: в способности находить, не только “адекватно”, но и изящно разрешать их ему трудно отыскать равных среди современников. А самое главное – он умел *каждый раз по-новому воспроизводить парадоксальное в неповторимом течении психологического эксперимента*, вочью демонстрируя его коренное отличие от классического естественнонаучного. Это должно войти в учебники! Нам же посчастливилось общаться и работать с истинным Психологом: ведь парадоксальность – логическая характеристика исходного способа существования реальности психического. В этом – ее феноменальность. Но феноменальность на реальности “не написана”. Условия для того, чтобы она стала явной, зримой, фиксируемой, всегда необходимо воссоздать, сконструировать. И Андрей Владимирович, используя и достраивая главный метод школы Рубинштейна (сходный метод в школе Выготского известен как “генетико-моделирующий”), справлялся с этой задачей блистательно.

Рыцарство духа, аристократизм личности, помноженные на... аскетизм – в высоком смысле слова:

“Аскетизм прекрасен – так же, как любовь и страсть. Но прекрасен аскетизм не умерщвленный и высушенный, а огненной и пламенной души. Аскетизм прекрасен, когда он – страсть (сравни, например, аскетизм И. Канта. – В.К.).

Аскетизм – это ревность, охраняющая любовь к чему-то бесконечно большому и дорогому от любвей маленьких и ничтожных.

Аскетом по-настоящему может быть только тот, кто пламенеет от любви. Аскетизм – целомудрие влюбленных” (Рубинштейн С.Л. Избр. филос.-психол. труды. Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997. С. 460).

Кстати, в переводе с греческого слово *аскетес* буквально означает *подвижник*. Андрей Владимирович и был им. Был им, как и его дед, царский генерал Константин Афиногенович Брушлинский. Одним из немногих среди множества “ведущих специалистов”. Ведь подвижничество – особое качество личности (качество – в философском понимании) и состояние духа, которое не имеет профессиональной специализации. Возможно, психология творчества когда-нибудь выйдет за рамки изучения “массовидных” процессов решения “нестандартных” задач (эта абстрактная

лабораторная модель давно уже не замещает, а подменяет собой реальность) и станет по-настоящему *вершинной*, обратившись к анализу феномена подвижничества. Разумеется, если не исчезнет сам феномен, который явно “не вписывается” в социокультурный контекст “постмодерна”. Идея акмеологии – хорошая, правильная идея, пока не нашла своего достойного концептуального оформления. Но если “Психология подвижничества” все же будет написана, то возможный эпиграф к ней может быть взят в Р.М. Рильке: “Здесь ничто без меня не завершено и ничто не успело стать”.

В этой фразе – альфа и омега европейского типа миропонимания (мироистолкования), доминирующее философское умонастроение, которое в разные времена по-разному выражали Августин Блаженный, Пико делла Мирандола, Р. Декарт, Б. Спиноза, Ф. Шеллинг, К. Маркс, А. Бергсон, Р. Штайнер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, М.К. Мамардашвили и многие др. Это и основной мотив, а наряду с ним кредо творчества С.Л. Рубинштейна – *принципиальное неприятие всякой данности, любого “готового” Миропорядка*. На какой бы авторитетной “опосредствующей” инстанции его бы ни *предустанавливали*. Даже Бога молодой С.Л. Рубинштейн стремился найти самостоятельно, “без посредников”. До него ту же восходную книгу Э.Ю. Соловьева “Непобедимый шест: “Душа не имеет посредников...””. Не настаивает ли, что слова “опосредствование”, “посредник” и “посредственность” в очень истинном, этимологически прозрачном русском языке – однокоренные?

“Душа и посредник” – сквозная тема психологии XX столетия. Конечно, можно и нужно проводить различие между деперсонифицированным опосредствованием (на уровне вещи, образа, значеством, как это делает, развивая идеи школы Л.С. Выготского, Б.Д. Эльконин. Но что меняет этот – в известных пределах эвристичный – шаг по большому, “гамбургскому” счету? Ведь уже в самой идее опосредствования-посредничества, идее *медиации* (этот термин предпочтительнее, поскольку охватывает как “деперсонифицированное”, так и “персонифицированное”) заложено некое отрицание “подлинности” (“оригинальности”), “первичности”, “уникальности”. В ней исподволь звучит отказ от *безраздельной* ответственности за собственное “самобытие”, когда, по выражению О. Мандельштама (кстати, в адрес эстетики *символизма*), “все кивают друг на друга”. Отрицание и отказ от всего того, о чем так радел и за что ратовал Андрей Владимирович. И тут уже не столь важно – используем ли мы “ме-

диатор” или обращаемая к “медиуму”. А в психологии всегда первозданна не только мысль или возвышенная страсть, но и рисунок простейших рабочих движений, которые образуют сложнейшее “моторное поле” (Н.А. Бернштейн) без повторяющихся траекторий. В процессе становления психической реальности (онтогенез, функциогенез) “опосредствованное” и “непосредственное” вступают в динамичные отношения, иногда превращаясь друг в друга (мне, как детскому психологу, приходилось наблюдать это в ярких, почти гротескных формах не один раз), но – лишь в качестве специфических реализаций свободной активности субъекта.

Именно в этом контексте следует рассматривать критику “знакоцентризма” Выготского, которую А.В. Брушлинский последовательно, с присущей ему основательностью и документальностью (месяцами просиживал в “Ленинке”) развернул уже в первой своей монографии “Культурно-историческая теория мышления” (М., 1968). Правда, позднее данная критика, на мой взгляд, не совсем справедливо, хотя и не обосновательно, была перенесена на М.М. Бахтина. Но, например, бахтинская “философия поступка” – это философия высокой “космопланетарной” ответственности, которую не принято делить, философия “моего не алиби в бытии”, по словам самого ее автора. И тут Бахтин ближе к Рубинштейну, нежели к Выготскому.

Когда же наука начинает переносить ответственность за судьбу своего *самобытного, феноменального* предмета на некие знаково-символические конструкции, тотемы коллективного разума – пусть и “освященные” в инстанциях “общественно-исторического опыта”, – это не просто редукционизм в рамках научного знания. Тогда наука превращается в мифологию – в самом точном, культурологическом, смысле этого слова (см. статью в “Психологическом журнале” (1996. № 1) и книгу “Психология развития человека” (Рига, 1999)). И в качестве таковой становится непроницаемой для всякой проблематизации, тем более – для содержательной, конструктивной критики. Так и должно быть: миф – вне обсуждения, вне анализа. Остается изучать его как историко-культурное явление, чем и занимаются специалисты соответствующего профиля.

Андрей Владимирович с научных позиций пытался критически анализировать именно *содержание мифа*. И потому не получал отклика оппонентов, к коим неоднократно взывал – почти до “крика души” – в своих устных и печатных выступлениях. Или же получал его от тех, кто к мифотворчеству отношения не имел, но, как и он, мужественно брал на себя ту самую безраздельную ответственность за судьбы науки в целом. Я имею в виду в первую очередь В.В. Давыдова, с

которым у А.В. Брушлинского общего было намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Оба они знали “по ком звонит колокол” и не терзались сомнениями относительно того, “что он Гекубе, что ему Гекуба?”. Оба они были Личностями, которые консолидировали нашу психологическую мысль, поддерживали единство, точнее – *единомножие* (П.А. Флоренский) российской психологии в ее лучших проявлениях и традициях. Без Личностей это невозможно. Сейчас коллеги “разошлись” по своим “ассоциациям” и даже редко посещают семинары друг друга, тогда как на семинары к А.В. Брушлинскому и В.В. Давыдову приходили очень многие и очень *разные* специалисты. Тема личностной и профессионально-мировоззренческой общности этих замечательных людей еще будет затронута ниже.

Консолидировать, сообщать чему-либо интенцию к целостности и цельности – задача не символов и знаков, а Личностей, которые вольны прибегать к их использованию. В России же, к примеру, поиски национальной идеи, как правило, ведутся без учета необходимости личности-воплотителя. Большевицкая идея была привлекательной для широких масс, но держалась на личностях Ленина и Сталина (не вдаемся в их оценку), которые, правда, сами стали и продолжают быть “знаковыми”. Срастание личности и знака (символа) в процессе ее мифологизации, особенно – в сфере политики, неизбежно. Однако без личности в любом случае не обойтись. Кажется, сегодня “политтехнологи” начинают это понимать (хотя теперь, наоборот, забывают о том, что нужна сильная и внятная “идея”).

Самодовлеющая позиция “медиатора” рано или поздно приводит к утрате *качественной определенности*. Иногда посредником называют Иисуса, христианского Богочеловека. Но это не означает, что он был “наполовину” бог, а “наполовину” – человек. Божественный выходец из человеческой плоти не просто “транслировал” людям волю Всевышнего, а выполнял свою *уникальную и самобытную миссию* – миссию *Спасения*. Именно поэтому многие воспринимают его не как мифологический персонаж, а как реальную Личность.

Психология трансформируется в мифологию потому, что мифологично сознание современного человека, мифологично устройство его бытия. Так, и в зоне ближайшего развития ребенка взрослый “приоритетен” прежде всего не как живая человеческая личность, а как транслятор безличного общественного знака. Зачастую – знака без значения, имеющего глубинную культурно-историческую опору и базовый жизненный смысл (ср. ситуацию в области образования). ...Зона ближайшего развития: ребенок и взрослый – росток и “священная корова” в поле знаковых кристал-

лизаций общечеловеческого опыта. Психология сплошного наместничества. Против нее и выступал А.В. Брушлинский. Против того, что знак или речь, понятая как система знаков, становится демиургом сознания. Тогда и человеческое “Я” в пределе может оказаться “всего лишь знаком” в своем отличии от “вы”, “мы” и “они” (постструктуралистская концепция “децентрированного субъекта”).

Но таковы были веяния гуманитарного знания XX века. Скажем, А.Ф. Лосев шел еще дальше, усматривая в символе “порождающий принцип действительности”, что, в свою очередь, явно перекликалось с положениями Э. Кассирера. Проводя тезис об опосредствовании сознания речевыми знаками, Выготский был отнюдь не оригинален. Хотя именно с этим связывают его научный вклад и в России, и за рубежом. Достаточно открыть хороший, высокопрофессиональный британский “Большой толковый социологический словарь”, составленный Дэвидом и Джуди Джери (М., 1999). В нем есть и статья “Выготский Лев Семенович”, где суть позиции ученого излагается следующим образом: “Явление частной речи, в которой дети используют речь для регулирования своего поведения, происходит от интериоризации опосредованных речью обменов с другими индивидуумами. В свою очередь, частная речь становится интериоризируемой и формирует внутреннюю речь в том виде, в каком устная мысль сохраняет социальный характер обменов, от которых и произошла” (цит. соч. Т. I. С. 103). Все так. Но только, практически не правя текст, статью можно было озаглавить “Жане Пьер”, а незначительно изменив терминологию, – “Мид Джордж Герберт”...

Да что там XX век! Своего рода набросок идеи знаковой детерминации сознания и его развития я в бытность аспирантом отыскал в первом крупном сочинении французского мыслителя-просветителя Э. Кондильяка “Опыт о происхождении человеческих знаний” (1746 г.) и о своем открытии незамедлительно сообщил Андрею Владимировичу. Автор, еще молодой аббат, рассуждал примерно так (цитирую почти дословно): поскольку создание знака возможно лишь в общении людей, то и механизм первоначального развития их ума следует искать здесь же. И далее подчеркивал: я говорю о первоначальном развитии ума (философ специально выделяет это место), ибо когда он достигает определенной зрелости, то научается умению самостоятельно создавать себе знаки, а потому может приобретать идеи без всякой посторонней помощи. Историки науки говорят о косвенном влиянии французского сенсуализма (который известен не только признанием примата чувств над разумом) – через неокантианство – на психологию первой трети прошлого столетия. Но налицо и более впечатляющие сов-

падения: только без использования терминов “интериоризация”, “зона ближайшего развития”. Не знаю, в чем тут дело: то ли в гениальной пронциемости Кондильяка, то ли в нашем стремлении открывать методологические Америки или изобретать теоретические велосипеды. Словом, – “постмодерн”...

Подлинное величие Л.С. Выготского в другом – в попытке трактовать знак как инструмент расширения сознания в культурно-историческую перспективу, который не навязывается индивиду социумом, а с той или иной степенью самостоятельности выбирается из “культуры”, осваивается, перестраивается, иногда заново создается им. Ведь этот инструмент двунаправлен – обращенный к социокультурной действительности, он одновременно является интимно-психологическим ключом к тайнам и проблемам субъективного мира человека, средством его преобразования изнутри, которое всегда проживается и переживается глубоко лично. Сюжеты “внутренней свободы”, “произвольности”, “спонтанности” в работах Выготского – не “боковые”, а смыслообразующие. К сожалению, эти сюжеты он не успел развить в своих конкретных исследованиях, а его прямые последователи, за исключением А.В. Брушлинского, Д.Б. Эльконина, частично – А.Р. Лурия, элиминировали их. Однако эти сюжеты успешно возрождают представители последующих поколений “выготчан”: В.П. Зинченко, М. Коул, Ю. Энгештрем, А.Г. Асмолов, Б.Д. Эльконин, Г.А. Цукерман, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова и др. Думается, что здесь – выход на потенциальный “мейнстрим” психологии нового столетия. Речь идет о психологии субъекта, которая уже начала складываться усилиями А.В. Брушлинского и его соратников, подошедших к этой возможной “точке роста” с иной стороны. Но здесь же – и возможная “точка консолидации” разных психологических школ и направлений, которые определяют свой предмет в категориях человеческой свободы. Не негативной свободы “от” (в просторечии – независимости), а позитивной, утверждающей, конструктивной свободы “для”.

Всю свою жизнь А.В. Брушлинский упорно достраивал философско-психологическую Вселенную, созданную С.Л. Рубинштейном. Символично, что его статья в “Психологическом журнале” (2001. № 6) явилась продолжением именно этой работы. Он весьма жестко и неизменно пунктуально, – но без грана доктринерства – следовал и Букве, и Духу Рубинштейна. Мне иногда казалось, что Андрей Владимирович слишком много времени уделяет утверждению в психологическом сознании идей Рубинштейна, тогда как они давно уже определяют классическую форму этого сознания, что это время можно было посвящать собственному творческому делу, для чего имелся колоссальный потенциал... Но как раз

это и было *его творческим делом*. Ибо быть эпигоном такого мыслителя, как Рубинштейн, в принципе невозможно. Можно только переписать или ксерокопировать его труды. Однако уже чтение этих трудов потребует от читателя бахтинского творческого соавторства – в них он столкнется не с *образцами совершенной мысли, а с образом совершенствующегося Мышления*.

Так и в работах А.В. Брушлинского новейшая российская психология становилась, используя удачное выражение Вадима Петровского, в своих *завершено-открытых* формах. Их автор не просто “уточнял”, “углублял” и “творчески развивал” многообразные концепции своего учителя. Он как бы размыкал выработанные учительской мыслью понятия в открытые проблемы, высвечивая их непреходящий, вечный характер, придавал им исторически актуальное звучание и смело выдвигал новые подходы к их решению. И тем самым (помимо всего прочего) делал эти проблемы близкими и понятными для молодого, растущего научного мышления.

* * *

При всей широте интересов ученого его поиски так или иначе концентрировались на проблеме творчества. Эта проблема имела для него не узкоспециальный, а фундаментальный общепсихологический смысл. В творчестве Андрей Владимирович усматривал не “аспект”, а выражение сущностной ипостаси человеческого бытия. Поэтому через его анализ он желал обрести и обретал ключ к решению центральных вопросов психологии человека.

Уверен, что монография А.В. Брушлинского “Мышление и прогнозирование” (1979) является такой же вехой в истории психологии мышления и творчества XX столетия, как и книги Дж. Дьюи “Как мы мыслим” (1910) (известная русскому читателю под названием “Психология и педагогика мышления”), К. Дункера “Психология продуктивного мышления” (1935), М. Вертгеймера “Продуктивное мышление” (1945), С.Л. Рубинштейна “О мышлении и путях его исследования” (1958), В.В. Давыдова “Виды обобщения в обучении” (1972), статьи Л. Секея “Исследование психологии мышления” (1940) и “Знание и мышление” (1950). Без этих, поистине *прорывных*, работ наши представления о постигающих возможностях и формообразующих силах человеческого разума формулировались бы иначе. На мой взгляд, сегодня правомерно говорить о *теории мышления С.Л. Рубинштейна–А.В. Брушлинского* так же, как уже говорят о дифференциально-психологической теории Б.М. Теплова–В.Д. Небылицина. В этих парах Ученики сомасштабны Учителям, а сами пары – друг другу. Но самое главное (как и в случае Теплова–Небылицина):

без теоретических дискурсов и экспериментальных разработок А.В. Брушлинского концепция Рубинштейна была бы неполной.

Особо мне дорого то, что эстафету дружбы с ним я получил из рук своего отца – Товия Васильевича Кудрявцева. Возьму на себя смелость назвать наши отношения дружескими, хотя нас разделяли годы и не только они. Но именно великодушное отношение Андрея Владимировича ко мне, как и ко многим другим, всегда сглаживало это расстояние. При том, что со времен моего студенчества он называл меня на “Вы”, а со времен аспирантуры – по имени и отчеству, и лишь очень редко, в доверительных домашних или телефонных беседах просто: “Володя”. В этом опять-таки “был весь” Андрей Владимирович.

К его друзьям принадлежал и мой учитель Василий Васильевич Давыдов. Все вместе они вводили меня в психологию, которая благодаря им стала для меня “биографичной” наукой – наукой, делаемой “в лицах” и Личностями. Общаясь с ними, я испытал подлинное счастье Ученичества, сравнимое с тем, которое они испытали рядом со своими учителями: Товий Васильевич – с Анатолием Александровичем Смирновым и Натальей Александровной Менчинской, Василий Васильевич – с Петром Яковлевичем Гальпериним и Даниилом Борисовичем Элькониным, Андрей Владимирович – с Сергеем Леонидовичем Рубинштейном...

В 80-е гг. XX в. трое моих наставников (к ним нужно добавить еще и четвертого – Якова Александровича Пономарева) в один голос настоятельно советовали мне заняться психологическим экспериментом. Мне же, преисполненному юношеских амбиций аспиранту, казалось более престижным “теоретизировать”. И вот однажды Андрей Владимирович, упомянув в разговоре со мной имя известного психолога, заметил: его талант был бы реализован намного полнее, если бы он экспериментировал. А ведь пример самого Андрея Владимировича, который сочетал в себе богатейший теоретический дар и искусство виртуозного экспериментатора (достаточно вспомнить изобретенный им метод микросемантического анализа, позволяющего в границах лабораторного эксперимента, т.е. в жестких временных лимитах, шаг за шагом воссоздать самое интимное – акт рождения и развития мысли), свидетельствовал в пользу этого.

И еще один штрих. В студенчестве мне довелось слушать лекции Андрея Владимировича на отделении педагогики и психологии педагогического факультета МГПИ (ныне – МПГУ) и психологическом факультете МГУ. Как-то, продумывая план своих будущих экспериментов, после лекции я подошел к Андрею Владимировичу и спросил, какой должна быть оптимальная выбор-

ка испытуемых для изучения мышления? “Достаточно одного испытуемого”, – неожиданно ответил мой собеседник...

Андрей Владимирович, конечно же, лукавил. Но за этим лукавством стояло нечто другое, очень глубокое. Как прав был Э.В. Ильенков: для того, чтобы знать, что такое чашка, достаточно одной чашки! Вспоминаются тут и содержательное обобщение В.В. Давыдова, и обобщение “с места” С.Л. Рубинштейна, и “спекулятивное” мышление Гегеля. Ответить так, как ответил Андрей Владимирович, мог лишь тот, кто был сам наделен способностью мыслить теоретически. А мыслить так – значит схватывать общую закономерность на материале одного-двух случаев, не вдаваясь в эмпирическое сравнение всего множества вариантов. Тем более, как показал в своих экспериментах Андрей Владимирович, подобное сравнение для мышления в принципе лишено смысла, ибо в мышлении изначально нет готовых эталонов, критериев для этого. Они формируются лишь на завершающих стадиях мыслительного процесса, порождаясь внутренним движением мысли, а не заимствуясь откуда-то извне.

Таков величайший парадокс и одновременно драма человеческого мышления: столь необходимая для анализа мыслимого содержания Мера возникает уже тогда, когда сам этот анализ почти завершен. Искомое и требование задачи изначально не совпадают, – такова психологическая закономерность, открытая А.В. Брушлинским, частный случай гегелевского закона несовпадения цели и результата деятельности. В ином “частном случае” было бы невозможным развитие мышления, да и само оно. Великолепный математик Дьердь Пойа в порядке “эвристической рекомендации” советовал “уточнять искомое”. По поводу чего А.В. Брушлинский иронизировал в своих ранних работах: это то же самое, что предлагать незрячему внимательно смотреть вперед. Ведь, по А.В. Брушлинскому, мышление – всегда (пусть по минимально) теоретическое и творческое, непредсказуемое, незапрограммированное, живое, авторское.

Слово “живой” здесь – ключевое. В школе создавалась теория мышления как живого процесса (так и квалифицировал А.В. Брушлинский). Мне думается, что именно категория живого (в его несводимости к биологическому) способна по-новому интегрировать социогуманитарные, естественные и технические дисциплины, сняв в своем составе традиционную оппозицию “природного” и “культурного”. Не только психология, но и история, социология, экономика и другие ветви человекознания призваны стать науками о разных формах многомерной, объемной жизни человека. Им предстоит вычленивать в реальности человеческого бытия собственно живые процессы, а в не-

живых – увидеть их специфическую производную. Ф. Шеллинг однажды заметил: все бытует над загадкой, – как из неживого возникает живое и никто не предполагает, что все может быть наоборот. Но, например, В.И. Вернадский не только предположил, но и развернуто объяснил это на конкретном материале геобиохимического анализа сибирских месторождений.

Однако подобная методологическая реформа предполагает переосмысление (проблематизацию) самого понятия живого (жизни), реконструкцию его философско-мировоззренческого смысла, его вывод за рамки натуралистических, эмпирических представлений, выдержанных в духе классического естествознания. Такую установку мы фактически находим в “Творческой эволюции” А. Бергсона (книге, которую, кстати, Андрей Владимирович хорошо знал), а конкретные научные (и вместе с тем философски обоснованные) заделы для этого – в теории мышления Рубинштейна–Брушлинского.

Мышление живет вечно. Даже на завершающей стадии мыслительного процесса сохраняется “зазор” между задуманным и сделанным, расхождением между “замыслом” и “реализацией”. Уж по этой причине любое “готовое” решение, если к нему пришли трудом мысли, внутренне проблемно. Так возникает возможность рождения новой мысли – своей или чужой. На этом зиждется биография и история мышления – диалог мыслящих поколений. Точки “разрыва” парадоксально совпадают в них с узлами преемственности и развития.

В таком понимании природы мышления А.В. Брушлинский и В.В. Давыдов (при всех их расхождениях по некоторым важным вопросам) – несомненные единомышленники. Примечательно, что оба они ценили и многократно цитировали античную мудрость: “Если мы не знаем, что искать, то что же мы ищем, а если знаем – зачем искать?”. Близкая мораль, но “по-русски”: “Пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что”. Английский фразеологизм менее выразителен: “Don't know which way to go”. Но если ты взошел на эту тропинку (way), то оказался во Вселенной (С.Л. Рубинштейн). Поистине вселенскими людьми были Андрей Владимирович и Василий Васильевич!

В одном из своих выступлений перед педагогами-практиками (1996 г.) В.В. Давыдов говорил, что в образовательном содержании нельзя наперед задать весь набор свойств какого-либо всеобщего отношения изучаемого материала: “...Такое отношение изучаемого материала: как учебная деятельность связана с преобразованием материала, а учебная задача – это такая задача, с помощью которой дети выделяют всеобщее основание решения целого класса задач, то

вы не можете сказать, что это будет за всеобщее основание и в каком виде оно появится.

Это есть продукт только реальной мыслительной работы школьников. Вы можете сказать: вот это всеобщее, а это – нет. То есть отрицательные характеристики этой всеобщности вы можете сообщить, а что это реально – вы не можете сказать. *Это все должно появиться и в вашем учительском сознании в конце решения учебной задачи школьником (выделено мною. – В.К.; Давыдов В.В. Последние выступления. Рига, 1998. С. 60*".

Так оба ученых смотрели на природу мышления, так и мыслили сами. И эксперимент был для каждого из них не способом конкретизации наличных концептов, верификации уже сформулированных гипотез, а органичным продолжением теоретического размышления.

Общность их взглядов была обусловлена общностью научных традиций, в которых они воспитывались. Говоря об этих традициях, нельзя обойти вниманием две ключевые фигуры – классика немецкого спиритуализма Гегеля и по-своему воспринявшего дух этой философии выпускника Марбургского университета, крупнейшего отечественного мыслителя и психолога С.Л. Рубинштейна.

Гегельянство В.В. Давыдова (которым он "заразился" от Э.В. Ильенкова) – общеизвестный факт. Однако известно и отношение Василия Васильевича к теории мышления С.Л. Рубинштейна – оно зафиксировано в его книге "Виды обобщения в обучении" (1972; 2-е изд. – 2000). Там он не просто высоко оценивает эту теорию, но фактически рассматривает рубинштейновские представления о природе и образовании теоретического понятия как один из источников своей концепции содержательного обобщения. Кстати, если сопоставить "Виды обобщения..." со статьей С.Л. Рубинштейна "Принцип творческой самодеятельности" (написанной в 1922 г., но развивающей значительно более ранние, еще "марбургские" теоретические сюжеты), мы сможем обнаружить просто-таки разительные совпадения в поворотах мысли их авторов, интерпретациях, оценках. И это при том, что В.В. Давыдов во время написания своей монографии не мог знать статьи С.Л. Рубинштейна, поскольку она была извлечена из архивов лишь в конце 1970-х гг.

Единственное, за что В.В. Давыдов принципиально критикует С.Л. Рубинштейна, – за то, что он "прошел мимо" проблемы *генезиса* содержания знания в понятии, так и не ответив на вопрос, какими "рычагами" нужно, по терминологии самого Рубинштейна, "поворачивать" объект, чтобы построить такое содержание. По мнению В.В. Давыдова, у С.Л. Рубинштейна элиминируется *эвристическая* функция понятия: понятий-

ными средствами лишь "вычерпывается" и закрепляется некое доселе не явное содержание (что, впрочем, хорошо понимали уже гештальтпсихологи), но не задается *способ его происхождения и развития*. И это – действительно уязвимый момент теории мышления С.Л. Рубинштейна. Однако – именно в том виде, в каком она изложена в его работах 1950-х гг. (на них, в частности, на книгу "Бытие и сознание" и ссылается Давыдов). Вместе с тем та проблема, которую поднимает Давыдов, была, по существу, поставлена в статье 1922 г. Она получила и свое решение в исследованиях школы Рубинштейна, прежде всего – в книге Брушлинского "Мышление и прогнозирование". В ней строящийся мыслительный прогноз предстает как творчески развивающееся понятийное обобщение, по своей природе – конструктивное, не просто облекающее в новую форму готовое знание, а насыщающее его новым содержанием и смыслом.

Подобно В.В. Давыдову, А.В. Брушлинский, создавал свой труд, еще не будучи знакомым со статьей "Принцип творческой самодеятельности". Сам С.Л. Рубинштейн никогда не ссылался на нее в своих более поздних публикациях (где намеченные в "Принципе..." дискурсы зачастую приобретали свернутую и редуцированную форму, а то и вовсе отсутствовали) и не рассказывал о ней даже ближайшим ученикам. Но, начиная с "Принципа...", во всех текстах С.Л. Рубинштейна зримо и незримо присутствовал гегелевский стиль мышления, точнее – его *остро-диалектическая* доминанта. Этот стиль и эту доминанту и перенял А.В. Брушлинский.

Являясь философски образованным и философски мыслящим психологом, Андрей Владимирович (сын профессионального историка философии Владимира Константиновича Брушлинского), по его же собственному признанию, сравнительно поздно (в 1972 г.) впервые прочитал "Науку логики" Гегеля. Приобщение к гегелевскому логическому наследию сыграло решающую роль в его научной судьбе. Буквально через несколько месяцев, как он рассказывал мне, в его сознании зародилась идея "недизъюнктивности", неаддитивности, непрерывности мышления.

Но эксперименты по психологии мышления, проведенные в научной школе С.Л. Рубинштейна, в том числе самим А.В. Брушлинским, свидетельствуют о том, что принять подсказку извне испытуемый может лишь по мере своего продвижения в решении основной задачи. "Дать можно только богатому и помочь можно только сильному. Вот опыт всей моей жизни", – писала М. Цветаева. Так и Андрей Владимирович был подготовлен к принятию "подсказки" Гегеля всем ходом своих предшествующих исканий. А предшествовало этому очень многое: и разработка проблематики

абстракции и анализа в познании количественных отношений, и изучение особенностей оперирования силлогизмами в мыслительном процессе, и исследования его направленности. Нельзя не упомянуть и великолепную книгу А.В. Брушлинского "Психология мышления и кибернетика" (1970). Кропотливый критический разбор концепции Л.С. Выготского также являлся моментом этой подготовительной работы.

Идею "недизъюнктивности" А.В. Брушлинский вскоре развил в оригинальную концепцию: тезисы в сборнике "Психология технического творчества" (1973), где впервые прозвучало это понятие, и его докторскую диссертацию "Психологический анализ мышления как прогнозирования" (1977), содержащую систематическую развертку последнего, разделяло всего четыре года.

Понятие "недизъюнктивности" легло в основу континуально-генетического подхода к анализу мышления и шире – психики человека. На базе этого подхода Андрей Владимирович со своими

сотрудниками и последователями поставил цикл замечательных экспериментов, результаты которых заставляют внести серьезные коррективы в сложившуюся психологическую картину мышления.

Эвристичность этих экспериментов (равно как и экспериментальных разработок Давыдова и его коллег по развивающему обучению) в значительной степени измерялась тем, что в числе их полноправных соавторов были и Гегель, и Рубинштейн, и другие носители высокой культуры теоретического мышления.

И наоборот, то, что они органично вошли в соавторский круг, многое говорит об основном их авторе.

*В.Т. Кудрявцев,
доктор психол. наук,
директор Института дошкольного
образования и семейного воспитания РАО,
Москва*